

МЕРЦАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА КАЯ

Тот, кто нашёл

КНИГА ПЕРВАЯ

МЕРЦАНИЕ

Книга Кая

Тот, кто нашёл

СОДЕРЖАНИЕ

Камень Ответа

Рисунки, которые не должны были быть

Храм Без Голоса

Башня-Шпиль

Сад Камней

Гробница Первых

Голос из пустыни

Я здесь

Вспышка

Тропа

За горизонт часа

Ты опоздал / Схождение



Камень Ответа

Камень Ответа

ГЛАВА 1. КНИГА КАЯ

Дети называли это место Молчаливыми Стенами.

Взрослые не называли его никак — просто отводили взгляд, если тропа случайно вела мимо, и ускоряли шаг, будто само направление могло быть услышано. Говорили, что однажды туда залез мальчишка из клана Ловцов Воды и не вышел обратно. Одни клялись, что его забрал песок. Другие — что это он забрал с собой песок, и с того дня дюна у восточной стены больше не двигалась, как будто ветру запретили.

Кай не верил ни в то, ни в другое. Он приходил сюда каждое утро — не из упрямства и не из отваги, которой у него, по правде, было немного, а потому что здесь, среди осыпавшихся плит, что-то было ему должно.

Он никому не смог бы объяснить, что именно. Просто иногда, когда ветер менял направление и проходил сквозь трещину в южной стене, камень пел. Не так, как поют люди у ночного костра, и не так, как воет ветер в пустых кувшинах. Это было похоже на голос, который забыл слова, но помнит, что когда-то они у него были.

Старейшины сказали бы, что это грех — слушать такое. Что уши даны человеку для слов соседа, для крика погонщика, для голоса духов на празднике урожая, а не для того, чтобы ловить бормотание камня. Слушать себя, говорили они, — вот первая дверь, через которую в человека входит

безумие. А безумие в песках не прощают: слишком дорого стоит вода, чтобы тратить её на того, кто разговаривает с пустотой.

Кай слушал. Тайно. Каждое утро.

. . .

В то утро песок ещё хранил ночной холод, а солнце только-только тронуло верхушки руин, выкрасив их в тускло-медный цвет. Кай протиснулся в узкую щель, где стена давно просела, ободрав локоть о каменную кромку, и оказался внутри — там, где тень стояла плотная, как вода в кувшине, и куда снаружи не долетал ни один звук.

Он замер, привыкая к темноте.

И тогда увидел блеск.

На земле, среди обломков, лежало что-то небольшое — размером с его сжатый кулак, тёмное, но не тусклое, будто камень впитал в себя весь свет, что когда-либо здесь бывал, и теперь нехотя им делился. Форма была странной: не круглая и не гранёная, а вытянутая, с изгибом, похожим то ли на закрытый глаз, то ли на слово, которое кто-то попытался высечь и бросил на середине.

Кай присел рядом. Долго не решался тронуть.

— Ты не должен быть здесь, — сказал он вслух, сам не зная, кому. Голос прозвучал слишком громко для этой тишины.

Камень не ответил. Но в груди у Кая шевельнулось что-то похожее на узнавание — так узнаёшь дом после долгого пути, хотя видишь его впервые.

Он ждал.

Мысль пришла не изнутри и не снаружи, а будто сбоку, и Кай не был уверен, подумал он это сам или услышал.

Он протянул руку. Пальцы дрожали — не от страха, а от того, что тело как будто заранее знало то, чего ещё не знал разум. Кончики пальцев коснулись холодной поверхности.

. . .

Ветер снаружи замер.

Кай понял это не слухом, а всем телом — так замечаешь, что сердце внезапно стало слышно. Песок перестал шуршать о стены. Собственное дыхание пропало, будто кто-то забрал у него звук вместе со светом.

И вместо боли, которую он всё это время ждал, — потому что так учили: тронешь чужое, спрятанное, и накажут — пришёл сон.

. . .

Он увидел башню.

Она стояла в пустыне, но не была руиной. Она была живой — Кай не смог бы сказать, откуда взялось это слово, просто знал: стены дышат, в них проступает и гаснет слабый свет, как будто внутри камня кто-то медленно вдыхает и выдыхает.

Внутри, у самого основания, стоял старик.

Одет он был просто, почти так же, как одевались в клане Кая — грубая ткань, пыльные сандалии. Но в руках он держал не посох и не чашу для воды, а что-то невидимое глазу, что-то, что

дрожало в воздухе между его ладонями и тянулось вверх, к тёмному небу, будто нить.

Старик смотрел на звёзды. И говорил — тихо, но так, что слова заполняли собой всё пространство сна:

— Я не прошу. Я слышу.

В тот же миг небо разошлось. Не громом, не пламенем — потоком. Тысячи, миллионы тонких нитей света хлынули вниз, как реки, как голоса, как чьи-то давно забытые сны, и вошли в старика — в его поднятые руки, в грудь, в лицо, запрокинутое к небу.

Он упал на колени. Заплакал. И одновременно — улыбался, будто боль и радость наконец перестали быть двумя разными вещами.

— Вы не одни, — сказал он в поток, который его пожирал и наполнял одновременно. — Вы вместе.

И тогда Кай увидел её.

. . .

Девушка стояла — нет, не стояла: она была частью самого потока, соткана из того же света, что лился с небес. Белое платье, светлые, почти бесцветные волосы, которые казались продолжением сияния, а не отдельно от него.

Она не смотрела на старика с жалостью. В её взгляде была гордость. И любовь. И что-то ещё — тонкое, застарелое, похожее на печаль человека, который знает конец истории задолго до её начала.

Она произнесла что-то — Кай не знал этого языка, ни одного слова из тех, что он мог бы

повторить проснувшись, — но понял каждую мысль, будто она вошла в него напрямую, минуя уши:

Ты первый. Но ты не последний. Он придёт. Он увидит это. Он поймёт.

А потом она перестала смотреть на старика.

Она посмотрела на Кая.

Прямо. Сквозь сон, сквозь года, которых он не мог сосчитать, сквозь то, что отделяло его от неё так надёжно, как ничто в целом мире, — расстояние, для которого ещё не придумали слова.

. . .

Кай упал.

Рука соскочила с камня, и он ударился спиной о холодную стену, хватая ртом воздух, как будто вынырнул с самого дна колодца. Сердце колотилось так, что он слышал его в ушах, в горле, в кончиках пальцев.

Камень лежал рядом. Тёмный. Неподвижный. Ничего в нём больше не отзывалось.

Но Кай знал — знал так же твёрдо, как знал, что солнце встаёт на востоке: то, что он видел, не было сном в том смысле, в котором старейшины ругали сны. Это было. Они — были. И он сам, каким-то образом, тоже был там, среди них, а не только смотрел со стороны.

Он поднял камень, обернул его лоскутом, оторванным от рубахи, и спрятал у пояса. По дороге домой он не сказал никому ни слова.

. . .

С того дня каждую ночь Кай видел один и тот же сон.

Ту же башню. Того же старика с невидимой нитью в руках. Ту же девушку, стоящую в потоке света, как будто сотканную из него.

Он не знал, что башня — не просто башня, а Шпиль, о котором в его клане не сохранилось даже легенды. Он не знал, что старик — тот, кого через тысячи лет назовут первым, кто услышал Пси-поток. Он не знал имени девушки.

Он знал только одно, и это знание сидело в нём тяжелее любого слова:

Они знают, что я смотрю.

. . .

Он перестал играть с другими детьми у колодца. Перестал слушать байки старших про демонов, что живут под дюнами. Каждое утро уходил к Молчаливым Стенам и подолгу сидел там, ожидая, что камень снова заговорит — но тот молчал, только по ночам, если приложить его к груди, чуть теплел, будто под кожей у него билось что-то очень медленное.

А ещё Кай начал рисовать.

Сперва на песке, пальцем — и стирал, едва солнце показывало ему сделанное. Потом углём, украденным у кузнеца, на обломке доски: башню, старика с поднятыми руками, девушку в потоке света.

Мать нашла один такой рисунок под циновкой и долго молчала, разглядывая его в свете очага. Потом сказала только:

— Спрячь. И больше не рисуй.

Но не спросила, что это. Побоялась спросить — потому что если сын видит духов, то либо это дар, о котором нельзя говорить вслух, либо болезнь, за которую наказывают, а между этими двумя ей не хотелось выбирать.

Кай спрятал доску. Но рисовать не перестал.

Он не выбирал этот путь — так, по крайней мере, ему казалось. Он просто откликнулся на что-то, что было брошено в его сторону задолго до его рождения и терпеливо ждало, зная, что рано или поздно найдётся тот, кто протянет руку.

Он ещё не знал её имени.

Но она уже — с самого первого дня, за тысячи лет вперёд от этой ночи — знала его.

Рисунки, которые не должны были быть

ГЛАВА 2. КНИГА КАЯ

Дом Кая стоял на самом краю Тамара — плоская хижина из обожжённого камня, с гладкими стенами, на которых никто и никогда ничего не рисовал. В Тамаре так было заведено: кто рисует — тот вспоминает то, что лучше забыть. Пустыня и без того слишком много помнила; людям полагалось быть легче её, быть песком, который ветер несёт вперёд, не оглядываясь на след.

Кай не мог быть песком.

Каждую ночь, когда сон уводил его в ту же башню, к тому же старику с поднятыми руками, к той же девушке в потоке света, — он просыпался с чем-то тяжёлым в груди, будто проглотил камень, и этот камень не давал уснуть заново. Он брал уголь, украденный у кузнеца, и чертил на плоской стороне обломка, пока тьма не начинала сереть.

Сперва — башню. Высокую, светящуюся, как палец, упёртый в небо.

Потом — старика на коленях, с руками, из которых текли реки света, уходящие к звёздам.

Потом — девушку. В белом. Со светом в волосах, будто он и не отделён от неё, а прорастает из-под кожи. Она не смотрела на старика. Она смотрела на того, кто смотрел.

Кай не знал, почему рисует её чаще всех остальных. Он вообще не знал, кто она. Но рука вела сама, и он давно перестал с ней спорить.

. . .

Мать заметила не сразу.

Нира вошла будить его тем утром, как входила всегда, — и увидела доску, прислонённую к стене, ещё не убранную. Башня. Старик. Девушка. Она подумала: играет ребёнок, само пройдёт, дети рисуют всякое, — и вышла заваривать утренний отвар, будто не видела.

На следующий день рисунок был другим. Та же башня, тот же старик — но девушка на этот раз тянула руку вперёд, к смотрящему, как будто звала. Нира постояла над доской дольше, чем ей хотелось бы, и ничего не сказала.

На третий день она испугалась по-настоящему. Потому что на рисунке появился он сам. Маленькая фигурка в тени башни, глядящая на старика снизу вверх — так, как будто была там, а не смотрела со стороны.

Нира не сказала сыну ни слова. Она сложила доску в тряпку и на закате пошла к Кругу Песка.

. . .

Семеро старейшин сидели там, где сидели всегда — под открытым небом, в центре поселения, на камнях, отполированных временем и множеством таких же вечеров. Перед ними положили рисунок, перенесённый на тонкий сланец.

Харан, самый старый из Круга, смотрел долго и не моргал. Пальцы его, лежащие на коленях, едва заметно дрожали.

— Это башня, что стоит в пустыне, — сказал он наконец. — Та, которую старики зовут Шпилем и о которой запрещено говорить вслух. Её не должно быть на детском рисунке. Её вообще не должно помнить.

Мелар, сидевший рядом, наклонился ближе, вглядываясь в фигуру девушки, и его голос упал до шёпота:

— Я видел её. Давно. Когда сам был мальчишкой и мне снилось то же самое. Мать сказала — не говори никому. И я не сказал. Я даже сам себе перестал об этом говорить, пока не забыл. — Он помолчал. — А теперь он нарисовал её снова. Слово в слово с моим сном.

Зия, самая молодая из Круга, поднялась.

— Он не рисует, — сказала она. — Он вспоминает. А тот, кто начинает вспоминать, рано или поздно уходит в песок. Как те, о ком мы не говорим.

Никто не возразил, потому что все знали эту историю — не как сказку, а как предостережение, передаваемое от одного Круга к следующему: были люди, которые начинали видеть сны наяву, слышать голоса в молчании стен, разговаривать с руинами, будто те могли ответить. Они уходили в пустыню одни, без воды и без причины, которую могли бы объяснить соседям. Их не находили. Говорили — песок их принял. Не как наказание. Как что-то более странное: как будто песок узнавал своих.

. . .

Старейшины не убивают. Они запрещают — это Кай усвоит на всю жизнь как первый урок о своём народе.

— Пусть мальчик больше не рисует, — постановил Харан. — Пусть не ходит к руинам. Пусть не говорит о снах — ни матери, ни братьям, ни себе самому в темноте, если это возможно. Если он продолжит — его отведут в Храм Без Голоса. Там решится, с кем он: с нами или с теми, кто ушёл.

Они думали: если мальчик забудет, он останется человеком.

Они не знали того, что уже понимал сам Кай, хотя и не смог бы облечь это в слова: забвение — не сила, а стена, за которой прячутся от того, чего боятся понять. А память, которая пришла к нему через прикосновение к тёмному камню, — не болезнь. Она была ближе к голоду. К жажде. К тому, без чего не проживёшь, сколько ни запрещай.

Он уже не мог разучиться помнить. Так же, как нельзя разучиться дышать.

. . .

Мать передала ему запрет вечером, у очага, не глядя в глаза.

— Больше не рисуй, — сказала она. — Это опасно. Слышишь меня?

Кай кивнул.

Ночью он вышел за стены Тамара, унеся с собой новый обломок камня и уголь, спрятанный в

поясе с самого утра — будто знал заранее, что старейшины запретят, ещё до того, как мать вернулась из Круга Песка. Под звёздами, там, где никто не мог увидеть, он снова начертил башню. Старика. Девушку.

Он не бросил рисовать. Он спрятался с этим — научился складывать доски под циновку, стирать угольную пыль с пальцев песком, не поднимать взгляда, когда кто-то из старших заговаривал о снах или о духах. Он научился молчать так убедительно, что даже мать через время перестала спрашивать.

Но видеть он не перестал.

. . .

Иногда, в те ночи, когда уголь двигался по камню будто сам собой, Кай слышал — не ушами, а тем местом в груди, где раньше ощущался только голод, — что-то похожее на шёпот. Не слова. Даже не голос в привычном смысле. Скорее — след голоса, оставленный так давно, что от него уцелела только форма, как отпечаток ладони в засохшей глине.

Он не знал, что этот шёпот был первым, что вообще прозвучало в потоке — задолго до старика, задолго до девушки, задолго до самой башни. Что где-то на другом краю времени человек, чьё имя Кай ещё не слышал ни разу, однажды попросил не за себя, а за всех, и с тех пор эта просьба продолжала звучать, тише и тише, сквозь каждого, кто оказывался достаточно тих, чтобы её слышать.

Кай думал, что просто не может уснуть спокойно. Что рука сама тянется к углю, потому

что так теперь работает его тело — со сдвигом, с трещиной, через которую что-то сочится и не даёт покоя.

Он не знал, что трещина — не поломка.

Он не знал, что через неё однажды войдёт весь мир.

. . .

Девушку в белом с того дня в Тамаре стали называть иначе, чем никак. Слух о рисунке разошёлся быстрее, чем старейшины успели бы его остановить, — от матери к соседке, от соседки к погонщику, от погонщика к детям у колодца, которые повторяли услышанное, не до конца понимая, о чём говорят. Так у неё появилось имя, не настоящее, а народное, то, что даётся тому, кого боятся и всё равно не могут забыть:

Та, что смотрит из песка.

Никто из говоривших это не знал, что где-то — не здесь, не в этом веке, не под этим небом — она в самом деле смотрела. И что весть о мальчике, который её нарисовал, дошла до неё раньше, чем можно было бы поверить: не как слова, а как дрожь на самой границе Мерцания, едва уловимая, но безошибочная.

Она узнала эту дрожь. Она ждала её так долго, что почти перестала верить, что узнает.

Он видит меня, — подумала она.

Значит, он уже идёт.

Храм Без Голоса

ГЛАВА 3. КНИГА КАЯ

Он стоял перед ним уже в третий раз.

Храм Без Голоса — так его называли, хотя он ничем не напоминал руины. В отличие от Молчаливых Стен, где обвалились своды и осыпался камень, Храм был цел. Чёрный, гладкий, без единой трещины, будто его не строили, а вырезали одним движением из ночи. Свет на нём не отражался, а тонул — так что даже в полуденное солнце стены оставались тёмными, как колодец. Ни дверей. Ни окон. Ни единого знака на камне. Только один проход — низкий и узкий, как горло, ведущее внутрь.

Дети Тамара обходили это место по широкой дуге и рассказывали друг другу шёпотом: кто войдёт — тот не выйдет, он станет тишиной. Старейшины говорили иначе, но не мягче: это место для тех, кто слишком много слышит и не умеет молчать.

Кай знал, зачем ему грозили этим местом. Если он не бросит рисовать, если продолжит говорить во сне имена, которых сам не помнит утром, — его приведут сюда. Не как пленника. Как испытуемого. Чтобы посмотреть, останется ли он человеком — или станет тем, кто ушёл.

Но в этот раз никто его не вёл.

Он пришёл сам.

. . .

Причина была в том, что сон изменился.

Раньше он просто видел: башню, старика, девушку — застывшую картину, повторяющуюся ночь за ночью, будто кто-то показывал ему одну и ту же роспись на стене. Теперь он начал слышать.

Каждую ночь, где-то на самом краю сна, звучал голос — не в ушах, а в кристалле, который он всё это время носил у пояса, завёрнутым в лоскут. Голос повторял одно и то же:

Ты опоздал.

Кай не понимал, кто говорит и в чём он опоздал. Но кристалл больше не был просто тёплым, как раньше по ночам. Он начал вибрировать — мелко, настойчиво, будто внутри него что-то билось и пыталось наружу.

А потом, однажды, девушка в белом впервые перестала смотреть на старика.

Она посмотрела на него. Прямо. И произнесла — не вслух, а так, что слова возникли сразу в груди, минуя слух:

Иди туда, где нет голосов. Там ты услышишь себя.

Он проснулся рывком, с колотящимся сердцем. Кристалл на груди был горячим, почти живым.

На следующий день он пошёл к Храму.

. . .

Проход оказался тесней, чем выглядел снаружи. Кай полз на четвереньках, царапая спину о камень, в темноте настолько плотной, что глаза переставали быть нужны. Потом впереди забрезжил свет — тусклый, ровный, как будто

просачивался от очень далёкой звезды сквозь толщу камня, которого там быть не могло.

Внутри было пусто. Круглая комната, гладкий пол — не как камень, а как застывшая вода, твёрдая под ногой, но с той же обманчивой мягкостью на вид. Ни алтаря, ни знаков, ни следа тех, кто, по слухам, входил сюда и не вышел.

Он сел. Стал ждать.

Ничего не происходило.

Прошёл час — Кай отсчитывал его по редким движениям света на стене, хотя не смог бы сказать, откуда этот свет вообще брался. Прошёл второй. Тишина внутри Храма была не такой, как снаружи, в пустыне: там тишина хотя бы наполнялась ветром, шорохом песка, дальним криком птицы. Здесь не было и этого. Собственное дыхание казалось слишком громким, слишком грубым для этого места, и Кай поймал себя на том, что старается дышать реже.

К исходу второго часа пришла мысль, простая и злая: *это просто камень. Меня обманули сны. Я глупец, который лезет в яму по слову девушки, которую сам же и придумал.*

Он поднялся, чтобы уйти.

И в этот миг тишина заговорила.

. . .

Не голосом. Не звуком в привычном смысле — скорее сама тишина вдруг перестала быть пустой и стала плотной, как вода перед тем, как в неё бросили камень.

Сначала — эхо, узнаваемое:

Ты опоздал.

Потом — не один голос, а тысячи сразу, звучащие не в ушах, а в костях, в крови, в самой глубине памяти, куда обычно не заглядывают:

Мы были. Мы есть. Мы ждём.

Потом — она. Девушка. И впервые её слова прозвучали не как загадка, а как ответ:

Ты не опоздал. Ты пришёл вовремя. Я ждала.

И следом — старик, тот, кто когда-то стоял на коленях под потоком света и говорил звёздам, что не просит, а слышит:

Ты слышишь. Значит, ты — следующий.

Кай упал на колени. Не от страха — страх остался где-то за порогом, снаружи, вместе с солнцем и ветром. Он упал, потому что узнал. Не образ, не сон — он узнал то, чем на самом деле были эти голоса. Не выдумка. Не болезнь, которой пугали старейшины. Память мира. Те, кто был. Те, кого забыли настолько прочно, что забвение стало казаться правдой. Те, кто, оказывается, не умер — просто замолчал для всех, кто разучился слушать.

Он плакал — впервые не от испуга, а от узнавания, которое было больнее и слаще любого страха.

. . .

Он вышел из Храма, когда солнце было уже высоко, и свет ударил по глазам так, что он зажмурился и долго стоял на пороге, привыкая. Ветер выл над руинами, гнал позёмку по гребням дюн — но Кай не сразу его услышал. Что-то в нём всё ещё оставалось внутри той тишины, будто

часть его так и не вышла обратно через узкий проход.

Кристалл на груди был тёплым и спокойным — таким спокойным, каким Кай его не помнил ни разу. Будто уснул. Будто, наконец сказав то, что должен был, мог отдохнуть.

Он никому не рассказал. Не стал больше рисовать в открытую, прятать доски по ночам — не потому, что боялся Круга Песка, а потому, что понял: то, что он видел, не для слов. Слова были слишком грубым инструментом для того, что произошло в круглой комнате из чёрного камня.

С этого дня он перестал бояться Храма.

Он знал теперь — не Круг Песка ему это сказал, никто вообще не говорил ему этого вслух, — что там, где нет голосов, слышно всё.

. . .

Он изменился, и это заметили даже те, кто прежде смотрел на него мельком. Кай стал тише — тише, чем когда прятал рисунки, тише, чем когда боялся, что мать снова найдёт доску под циновкой. Но старейшины, встречая его взгляд, отводили свои первыми. В его глазах теперь было что-то, чему в Тамаре не было названия — как будто мальчик видел то, чего видеть не должно, и это видение больше не пугало его самого, а лишь тех, кто заглядывал ему в лицо.

Кристалл тоже переменялся. Он больше не был просто холодным камнем, который грелся по ночам. Теперь он отвечал — на радость светился едва заметно, на страх начинал мелко

вибрировать, на тоску наливался тяжестью, будто впитывал её в себя, чтобы Каю было легче нести.

. . .

В ту самую ночь, за тысячи лет и невообразимое множество звёзд от Тамара, Лира почувствовала дрожь.

Она не была сильной — скорее, как отзвук чужого шага, донёсшийся через толщу расстояния, которое давно перестало поддаваться счёту. Она не знала — не могла знать — что в этот миг мальчик в чужой пустыне впервые вполз в темноту и вышел из неё другим. Но она почувствовала: он услышал. Он понял. Он идёт.

И впервые за девятьсот девяносто девять лет своего Мерцания её свет не угас, как гас каждую ночь до этой.

Он задрожал.

Так, как дрожит пламя, когда сквозняк доносит из-за закрытой двери едва уловимый, но безошибочный запах чужого огня.

Как будто кто-то — наконец — ответил.

Башня-Шпиль

ГЛАВА 4. КНИГА КАЯ

В ту ночь сон был другим.

Не башня из прежних видений — та, что дышала светом изнутри, в которой стоял старик с поднятыми руками. Этот сон был проще и от того почему-то тревожнее: обелиск из тёмного кристалла, торчащий из пустыни, как палец, указывающий в небо. Он не дышал. Не светился. Просто стоял — так давно, что казался частью самой пустыни, а не тем, что в неё вонзили.

Кай проснулся с полной уверенностью, что видел не выдумку.

Он знал это место. Не потому, что бывал там — он никогда не заходил так далеко от Тамара, — а потому, что старшие, понижая голос, иногда упоминали его в разговорах, которые обрывались, стоило детям подойти ближе. Шпиль. Так называли ту точку на горизонте, куда никто не ходил, потому что идти туда не было причины: ни воды, ни тени, ни добычи. Только камень, торчащий из бархана, будто кость, которую пустыня так и не смогла проглотить целиком.

...

Он вышел затемно, пока Тамар ещё спал, и шёл весь день — дольше, чем когда-либо уходил от дома в одиночку. Солнце жгло затылок, песок набивался в сандалии, а горизонт всё не менялся, будто Шпиль отступал ровно на столько же шагов, сколько проходил Кай. К середине дня он

усомнился, что вообще движется в верную сторону. К вечеру — почти повернул назад.

Но потом, когда солнце легло на самый край неба и тени вытянулись до нелепой длины, он увидел его.

Шпиль оказался выше, чем в сне, — и в то же время меньше, чем боялся представить Кай, слушая шёпот старших. Тёмный кристалл, почти чёрный при свете дня, но там, где солнце падало под низким углом, вспыхивающий изнутри глубоким, почти алым отсветом, будто внутри камня застыл давно потухший огонь. Наполовину ушедший в песок, он всё равно возвышался над барханами настолько, что Кай, стоя у подножия, почувствовал себя мельче, чем чувствовал себя когда-либо у Молчаливых Стен или у Храма.

Руины, которые он знал прежде, были мертвы — обвалившиеся, стёртые ветром, побеждённые временем. Шпиль не был побеждён. Он выглядел так, будто просто ждал — терпеливо, без спешки, так, как ждёт то, что переживёт любого, кто придёт на него посмотреть.

. . .

Кай подошёл ближе. Положил ладонь на камень.

Ничего не произошло.

Ни холода, ни тепла, ни того рывка узнавания, что случился в тот первый день у Молчаливых Стен, когда пальцы коснулись кристалла и мир исчез вместе с ветром. Камень под рукой был просто камнем — плотным, чуть шершавым у основания, безразличным к его прикосновению,

как безразлична гора к тому, кто на неё облокотился.

Он стоял так долго, пока рука не затекла. Прижимался лбом к холодной поверхности, пробовал заговорить вслух, как когда-то заговорил с первым кристаллом — «Ты не должен быть здесь», — но и это не изменило ничего. Пустыня вокруг молчала так же, как молчала всегда, без всякого умысла.

Он подумал: может быть, ему всё привиделось. Может быть, Круг Песка прав, и то, что он принимает за память мира, — просто болезнь, растущая изнутри, как трещина в сухой глине.

И тогда, уже собираясь отойти, он ощутил — не голос, не образ, а что-то более странное: не одно присутствие, а множество, наложенных друг на друга так плотно, что ни одно нельзя было различить в отдельности. Будто он стоял не перед камнем, а перед закрытой дверью, за которой одновременно говорили сотни людей на разных языках, и звук их голосов сливался в едином низком гуле, слишком глубоким, чтобы разобрать хоть слово.

Кристалл на его поясе — тот, первый, свой, — отозвался слабой дрожью, словно узнал что-то в этом гуле и попытался откликнуться.

Но Шпиль не ответил ему напрямую. Он будто продолжал ждать чего-то другого — не прикосновения, а голоса, которого у Кая ещё не было.

. . .

Он просидел у подножия до темноты, не решаясь уйти и не понимая, чего ещё ждать. Звёзды выступили одна за другой, холодные и резкие, как всегда бывает в пустыне ночью, — но ни одна из них не была похожа на тот поток света, что когда-то хлынул в его сон, в поднятые руки старика. Шпиль стоял тёмный и безмолвный, отражая звёзды в гладких гранях, но не говоря ничего в ответ.

К полуночи Кай понял: сегодня не тот день.

Он не знал — потому что откуда бы ему было знать, — что дело не в нём одном. Что Шпиль не был просто камнем, ждущим прикосновения, а был антенной, настроенной на нечто гораздо более тонкое, чем касание ладони: на голос, соединённый с потоком, а не просто на тело, к нему подошедшее. Что до тех пор, пока он не научится не касаться, а звучать, — башня будет молчать перед ним так же, как молчала перед всеми до него, кто приходил из любопытства, а не по праву.

Он повернул назад в темноте, ориентируясь по звёздам так, как учили его в клане, и шёл всю ночь, чтобы успеть домой прежде, чем мать заметит пропажу.

. . .

Он не знал, что за тысячи лет до него, а если считать иначе — за тысячу лет после, если стоять на другом конце того же потока, — женщина по имени Лира создавала такие башни не одну и не две. Она создавала их сотнями — в тысячах миров, где стояла та же тишина, что и в пустыне Кая: в мирах, где никто никогда не выходил в поток, где

живущие даже не подозревали о его существовании, потому что для них не было ни слова для этого, ни сна, который намекнул бы, что где-то за краем неба существует нечто большее.

Сама Лира ни в один из этих Шпилей не входила. Она жила в мире, где свет был известен так же, как вода, где знание не искали — им дышали, как воздухом, и все технологии, доступные разуму, давно перестали быть тайной. Ей не нужно было идти в темноту, чтобы что-то понять о ней. Но именно поэтому она и не могла войти в чужую тишину сама — только оставить в ней нечто, что смогло бы её дождаться.

Она делала это не для себя. Она знала — так, как знают то, во что вложена вся жизнь, — что каждый из этих Шпилей однажды может понадобиться. Что в каком-то одном из тысячи молчащих миров родится тот, кто не будет знать ни имени башни, ни её смысла, и просто положит руку на камень, ожидая ответа, которого камень не сможет дать сразу.

Каждый Шпиль она создавала одинаково — и каждый раз заново, будто впервые. Это не было постройкой в привычном смысле: она не поднимала камень из земли, она вплетала в него то, что сама не смогла бы назвать иначе, чем душой, — и от этого Шпиль переставал быть просто веществом. Он становился и камнем, и чем-то ещё: чёрным, как ночь без единой звезды, — и в то же время тёплым, как рука матери на лбу заболевшего ребёнка; твёрдым под ладонью — и в то же время гладким, как вода, что течёт между пальцами, не давая себя удержать.

Маяк. Место. Пространство, в которое можно войти, даже не двигаясь с места, если умеешь слушать так, как не умеет никто вокруг тебя.

Она не знала, в каком из тысяч миров это случится в следующий раз, и не знала имени того, кто придёт. Она знала только одно — то, что вкладывала в самый глубокий слой резонанса каждого Шпиля, туда, где сама уже не сможет это услышать, а сможет только он, гораздо позже, гораздо дальше, если однажды придёт снова:

Пусть он не отчаётся.

Пусть он вернётся.

Башня подождёт — сколько потребуется, в каком бы из миров она ни стояла.

Сад Камней

ГЛАВА 5. КНИГА КАЯ

После Шпиля Кай не мог оставаться на месте.

Прежде пустыня вокруг Тамара казалась ему полной — руины, дюны, редкие тропы кочевий, всё уже было названо, всё исхожено старшими до него. Теперь, стоило закрыть глаза, он видел на этой знакомой карте пустые пятна, будто кто-то стёр часть узора, и в каждом таком пятне ему чудилось едва уловимое притяжение, как в стороне, откуда дует ветер, хотя самого ветра ещё не слышно.

Одно из таких пятен отозвалось в нём не просто притяжением. Оно отозвалось узнаванием.

. . .

Он вспомнил не сразу — воспоминание пришло не целиком, а обрывком, как выцветший лоскут, который вытащили из-под груды других, более новых и ярких.

Ему было лет пять, может, шесть. Караван остановился на дневной привал у пересохшего русла, и взрослые, занятые вьюками и водой, на время забыли о детях. Кай тогда увязался за тушканчиком — не поймать, просто посмотреть, куда тот бежит, — и отошёл от лагеря дальше, чем позволялось. Ветер в тот день был странным: не сильным, но ровным, будто кто-то тянул воздух в одну сторону, как нитку через игольное ушко. Кай пошёл за ветром, а не за тушканчиком, хотя тогда не смог бы объяснить почему.

С вершины бархана он увидел их — далеко, на самой границе марева: тёмные силуэты, стоящие кругом, будто люди, замершие на полуслове.

Он не успел разглядеть больше. Дядя Раан, брат матери, догнал его, схватил за плечо так, что стало больно, и потащил обратно к каравану, не говоря ни слова, пока они не отошли достаточно далеко, чтобы силуэты скрылись за барханом.

— Туда не смотрят, — сказал он тогда, присев перед Каем, и голос его был тише, чем обычно, и от этого страшнее. — Это не для живых. Забудь, что видел.

Кай кивнул, как кивают дети, не понимая, но чувствуя, что вопросы будут стоить дороже ответа. И забыл — так, как умеют забывать в его возрасте: не стерев память, а просто перестав её открывать, год за годом, пока она не осела на дно, точно песок на дно колодца.

Он вспомнил об этом только сейчас, стоя посреди Тамара с закрытыми глазами и глядя не глазами, а чем-то другим на пустое пятно в знакомом узоре пустыни. Направление совпадало. Расстояние, прикинутое по детским шагам и не по взрослым, — тоже, насколько он мог судить.

Это то самое место, — подумал он, и внутри что-то дрогнуло — не страх, а что-то более странное: чувство, что он не открывает новое, а возвращается.

. . .

Он вышел на рассвете, доверившись не карте — карты этого места не существовало ни у кого в Тамаре, — а полустёртому следу из детства и тому

же чутью, что вело его к Шпилю. Шёл дольше, чем рассчитывал, дважды сомневался, что помнит верно. Но когда солнце перевалило за полдень, он увидел на горизонте то же самое, что видел пятилетним мальчишкой с вершины бархана, — только теперь мог подойти и разглядеть.

. . .

Сперва он подумал, что это ещё одни руины — из тех, что усеивали пустыню сотнями, безымянные и безразличные. Но, подойдя ближе, увидел: это не обвалившиеся стены. Это круг.

Двенадцать фигур стояли по кругу на плотно спёкшемся песке — высотой в человеческий рост, обращённые лицом внутрь, друг к другу, будто застыли на середине какого-то безмолвного разговора. Ни одна не была похожа на другую. Одна казалась вырезанной из света, застывшего настолько плотно, что на ощупь он был твёрдым, как камень, и всё равно испускал тихое сияние сквозь сомкнутые веки. Другая — из тёмного металла, покрытого сеткой мельчайших царапин, похожих на звёздную карту. Третья — из дерева такой породы, какой Кай не встречал ни в одном оазисе, тёплого на вид, будто оно продолжало расти даже сейчас. Четвёртая — изо льда, который не таял под полуденным солнцем пустыни, хотя должен был превратиться в лужу ещё до полудня.

У всех фигур были закрыты глаза. Но Кай, обходя круг, чувствовал взгляд — не снаружи, не от стен, а откуда-то изнутри собственной груди, будто на него смотрели не глазами, а памятью.

Они смотрят, — подумал он, и по спине пробежал холод, ничем не связанный с ночным воздухом.

Он остановился у входа в круг. Долго не решался войти.

. . .

В детстве ему рассказывали про демонов, что живут под дюнами и принимают форму камня, чтобы заманить неосторожного. Он думал о них сейчас, стоя перед двенадцатью неподвижными лицами, и почти повернул назад.

Но что-то в самой тишине круга было другим — не хищным, не выжидающим, а терпеливым, как молчание старика, который знает, что торопить не нужно, потому что рано или поздно спросят сами.

Кай вошёл.

. . .

Он обходил статуи одну за другой, касаясь ладонью каждой — сперва осторожно, потом смелее, — и с каждым прикосновением в нём рождалось что-то, чему он не мог подобрать слова. Не голос, не картинка, а именно ощущение, вспышка, слишком короткая, чтобы её удержать, но достаточно яркая, чтобы оставить след.

От фигуры из застывшего света пришло чувство — не мысль, а именно чувство: *одиночество, обращённое не внутрь себя, а наружу, ставшее просьбой за всех*. Кай не понял, что это значит. Но в груди у него что-то отозвалось так, будто он сам когда-то чувствовал нечто похожее, стоя у Молчаливых Стен.

От тёмного металла со звёздными царапинами пришло другое: *ощущение края, за которым не пустота, а ответ — далёкий, но настоящий.* Будто кто-то однажды стоял на самом обрыве известного мира и понял, что там, за ним, есть кому смотреть в ответ.

От тёплого дерева — что-то похожее на упрямство: *мир не строят, его вспоминают.* Мысль пришла так ясно, что Кай на миг замер, не понимая, чья она — его или чужая, вложенная в камень так давно, что забыла, кому принадлежала прежде.

От льда, что не таял, — тишина без слов, но с ощущением жертвы: *свет, оставленный в чужом далёком месте не для себя, а для тех, кто придёт следом.*

Он не знал ни одного имени. Не знал, кто были эти четверо — да и были ли это вообще четверо, или что-то одно, много раз надевавшее разные лица. Но каждое прикосновение оставляло в нём что-то новое, как будто он не входил в чужую память, а вспоминал собственную, только очень старую, отложенную на дно так глубоко, что для неё потребовалась целая жизнь, чтобы всплыть.

. . .

Дальше по кругу стояли ещё статуи — но не такие, как первые четыре.

Пятая, шестая, седьмая — были грубее, менее завершёнными, будто резчик не успел закончить работу или намеренно оставил её на середине. Прикосновение к ним отдавалось глуше, обрывочно — отдельные вспышки без ясной формы: чей-то смех, чья-то боль, чьё-то долгое

обучение, растянутое на годы, о которых Кай не мог сказать ничего, кроме того, что они были. Он подумал: может быть, эти истории ещё не закончены. Может быть, они всё ещё продолжаются — просто не здесь.

А потом он подошёл к восьмой.

. . .

Эта статуя отличалась от всех.

Она не была ни из света, ни из металла, ни из льда — что-то среднее, будто материал ещё не определился, чем хочет быть. И она была тёплой. Не как камень, нагретый солнцем, — тепло шло изнутри, ровное, живое, как от чьей-то ладони, только что снятой с твоей руки.

Кай замер перед ней. Черты лица были размыты, словно недосказаны, — не потому, что резчик поленился, а потому, что сама фигура ещё не решила, каким лицом хочет запомниться. Но в самом молчании этой статуи было что-то, отличное от остальных одиннадцати: не память о том, что уже случилось, а ожидание того, что случится совсем скоро.

Он протянул руку.

И в этот раз, впервые за весь вечер, тепло под ладонью не осталось прежним. Оно дрогнуло — едва заметно, как пульс, — и Кай отдёргнул руку, не от боли, а от неожиданности: будто дотронулся не до камня, а до чьего-то живого запястья.

Что-то в этом тепле показалось смутно знакомым — как обрывок сна, который не удержать, стоит проснуться. Где-то на самом краю сознания мелькнуло что-то белое, светлое, — но

мелькнуло и пропало, прежде чем Кай успел понять, что именно вспомнил. Он тряхнул головой, и ощущение ушло, не оставив после себя ничего, кроме лёгкого сожаления, как бывает, когда забываешь имя, вертевшееся на языке.

Он ещё не готов был связать это тепло с девушкой в потоке света. Это понимание придёт к нему много позже — когда он научится не просто чувствовать, а слышать. Пока же восьмая статуя была для него просто самой тёплой из двенадцати, и он не искал этому объяснений.

Он стоял, тяжело дыша, глядя на восьмую фигуру так, как смотрят на что-то, что вот-вот заговорит, но всё ещё молчит.

Дальше круг обрывался. Девятое место — там, где должна была стоять следующая статуя, — оставалось пустым: только гладкая проплешина песка, будто под неё расчистили место заранее, и никто пока не пришёл его занять.

Кай долго смотрел на эту пустоту. Не понимая, почему у неё, в отличие от остальных одиннадцати, нет даже намёка на форму.

. . .

Он ушёл из Сада Камней перед рассветом, унося с собой не образы, а тяжесть — не тела, а того, что теперь знал, не умея объяснить, откуда. Он понял одно, хотя и не смог бы облечь это в слова, если бы его спросили: статуи не были стражами, поставленными пугать чужаков.

Они были теми, кто прошёл этот путь до него.

. . .

В ту же ночь Лира, в своём Мерцании, ощутила прикосновение к кругу — тонкое, едва уловимое дрожание в самом дальнем узле сети, которую она сплетала веками, мир за миром, статую за статуей, отпечаток за отпечатком, каждый раз вкладывая в камень частицу того, что смогла собрать из памяти всех, кто прошёл этот путь прежде неё.

Восьмая статуя была её собственной. Она знала это лучше, чем знала что-либо ещё, — потому что сама вложила в неё то небольшое от себя, что ещё можно было отдать, не рискуя погаснуть раньше срока.

Она почувствовала: он коснулся именно её.

И — впервые за девятьсот девяносто девять лет ожидания — статуя, которую она вложила в камень как последнее, что могла оставить после себя, откликнулась не пустым эхом, а чем-то похожим на настоящее тепло.

Ещё немного, — подумала она.

Подойди ближе. Девятое место пусто. Оно ждёт не камня.

Оно ждёт тебя.

Гробница Первых

ГЛАВА 6. КНИГА КАЯ

После Сада Камней сны Кая перестали быть только снами.

Раньше видения приходили ночью и уходили с рассветом, оставляя после себя только тяжесть в груди и уголь под ногтями. Теперь они начали продолжаться и днём — не как картинки, а как направление, как тяга, похожая на жажду, только утоляемая не водой. Через три дня после того, как он коснулся тёплой статуи, эта тяга привела его к трещине в земле, которую он видел десятки раз прежде и всегда обходил стороной, не задумываясь почему.

Трещина шла от подножия одного из барханов, недалеко от границ Тамара — такая узкая, что взрослый там не пролез бы, и заросшая колючим сухостоем, будто сама пустыня хотела, чтобы её не находили. Кай стоял над ней долго, чувствуя то же самое притяжение, что вело его к Шпилю и к Саду, только теперь оно было настойчивее — не приглашение, а что-то похожее на зов человека, который слишком долго ждал и уже не может сдерживать голос.

Он протиснулся внутрь.

. . .

Проход уходил вниз ступенями — не грубо вырубленными, а гладкими, слишком ровными для того, что могло вырезать время или ветер. Кай спускался в темноте, ведя рукой по стене, пока не

почувствовал, что воздух вокруг изменился: стал суше, старше, как будто здесь века назад закрыли дверь и с тех пор ни разу не открывали.

Потом впереди забрезжил свет — не факел, не солнце, а ровное холодное сияние, идущее будто отовсюду сразу.

Кай остановился на пороге зала и забыл, как дышать.

. . .

Их было много — десятки, может, больше. Тела, уложенные в неглубоких нишах вдоль стен, не тронутые тлением, не превратившиеся в кости и пыль, как полагалось бы телам, пролежавшим здесь дольше, чем помнил хоть один из живущих. Вместо этого кожа, одежда, даже пряди волос будто застыли на середине превращения — наполовину ещё людьми, наполовину уже чем-то другим: прозрачным, кристаллическим, светящимся тем же ровным светом, что заполнял зал.

Не разложение. Не смерть в привычном смысле. Скорее — переход, остановленный на середине шага, будто эти люди начали становиться светом и не закончили.

Кай подумал о демонах, которыми пугали детей у колодца, о песке, что «принимает своих». Но чем дольше он стоял, тем яснее становилось: страха здесь не было. Было что-то другое — тишина, полная не пустотой, а ожиданием, как в Саду Камней, только глубже, старше, ближе к самому началу.

Он пошёл вдоль ниш, читая лица, которых никогда не видел и всё же узнавал — не имена, не истории, а то общее, что роднит всех, кто однажды перестал бояться слушать себя.

. . .

В самом центре зала, на невысоком постаменте, лежали кристаллы — множество, каждый размером не больше кулака, разложенные без видимого порядка, но так, что взгляд сам находил среди них один.

Кай подошёл. Протянул руку — не раздумывая, как будто тело снова знало то, чего не знал разум.

Кристалл под его ладонью вздрогнул.

Не так, как вздрагивал первый камень у Молчаливых Стен, когда мир вокруг исчез вместе с ветром. Это было тише и одновременно ближе — будто что-то, спавшее очень долго, вдруг узнало прикосновение и не поверило себе.

И тогда пришла память — не его, чужая, но такая ясная, что на миг граница между «его» и «чужой» стёрлась совсем.

. . .

Он увидел людей его собственного мира — не старика, не башню, не девушку в белом, а тех, кто жил здесь, в этих же песках, задолго до Тамара, задолго до Круга Песка и его запретов. Людей, которые не боялись слушать. Которые собирались по ночам не у костра, а в тишине, и делились друг с другом не словами — тем, что чувствовали, тем, что помнили, тем, чего боялись и на что

надеялись, будто все они были частями одного дыхания.

Он увидел, как это дыхание однажды оборвалось.

Не бурей, не войной — тишиной, обрушившейся внезапно, будто кто-то одним движением перекрыл русло, по которому долго текла вода. Он не понял, что стало причиной. Увидел только лица — растерянные, испуганные, ищущие голос, который всегда был рядом и вдруг пропал, — и то, как страх перед этой внезапной немотой медленно, за поколения, превратился в закон: не слушай себя, не слушай пустоту, не ищи то, что однажды предало тебя молчанием.

Так родился Круг Песка. Не из жестокости. Из горя, которое забыли называть горем и стали называть мудростью.

. . .

Видение оборвалось резко — Кай пошатнулся, и в тот же миг где-то в глубине зала что-то с сухим скрежетом сдвинулось. Пыль посыпалась с потолка. Один из дальних сводов дрогнул, будто зал, потревоженный впервые за века, решил напомнить, что покой здесь — не то же самое, что безопасность.

Кай не стал ждать, что будет дальше. Он сжал кристалл в кулаке и бросился к выходу, слыша за спиной нарастающий гул оседающего камня, чувствуя, как по щиколотку ему засыпает песок, хлынувший через новые трещины. Он выбрался наружу за мгновение до того, как проход, которым он спускался, сложился сам в себя, будто гробница

закрывалась заново — теперь уже, возможно, навсегда.

Он лежал у подножия бархана, тяжело дыша, глядя в белёсое от жара небо, и только тогда разжал кулак.

Кристалл лежал на ладони — тёмный, тёплый, живой на ощупь так, как не был живым ни один камень, что он находил прежде.

. . .

Он не рассказал никому. Спрятал новый кристалл рядом с первым, у пояса, и долгие дни носил в себе то, что увидел, — не как открытие, а как рану, которая наконец объяснила саму себя.

Он понял то, чего не мог понять прежде: страх его народа не был глупостью. Он был памятью о потере, настолько огромной, что её единственным способом пережить стало забвение. Круг Песка не защищал людей от безумия. Он защищал их от того, чтобы снова не полюбить голос — и снова не потерять его.

Кай не знал, простит ли себе когда-нибудь то, что не может остановиться. Но он знал теперь и другое: то, что он слышит, — не его личное проклятие. Это было общим. Однажды принадлежало всем. И где-то — он чувствовал это так же ясно, как чувствовал жажду, — оно ждало не только его, чтобы вернуться.

. . .

Много раньше, за тысячи лет до этого дня, а если считать иначе — совсем недавно, на другом

конце того же потока, Лира вложила это послание в кристалл собственными руками.

Она не могла подарить Каю ответ — только вопрос, оставленный так, чтобы он однажды самого нашёл. Она знала: рано или поздно кто-то в одном из молчащих миров спустится в такую же гробницу, коснётся такого же камня и увидит то же самое горе, ту же немоту, тот же закон, рождённый из утраты. И ей было важно, чтобы в этот миг он почувствовал не только боль своего народа — но и то, что где-то, когда-то, боль эта уже была услышана и не осталась без ответа.

Это не наказание, — вложила она в самый глубокий слой памяти кристалла, зная, что сама этих слов больше не услышит. Это не грех — слушать. Грех — заставить замолчать тех, кто мог бы услышать в ответ.

Скоро, — подумала она, чувствуя, как далеко на другом конце времени кто-то сжимает в кулаке кристалл с её словами. *Уже совсем скоро.*

Голос из пустыни

ГЛАВА 7. КНИГА КАЯ

Кай вырос настолько, что мать перестала называть его мальчиком даже мысленно.

Шестнадцать лет — для Тамара это был почти взрослый возраст: ещё год-два, и его начнут звать на советы погонщиков, доверят собственный надел бурдюков для дальних переходов. Но Кай всё чаще уходил из дома не по делу клана, а туда, куда вело то, что жило теперь у него внутри постоянно, не отпуская даже днём, — тихое, ровное притяжение, похожее на голод, но без единого намёка на то, чем его утолить.

В ту ночь он не пошёл ни к Молчаливым Стенам, ни к Храму, ни к Шпилю. Он просто лёг посреди пустыни, под открытым небом, там, где ничьи стены не отделяли его от звёзд.

Звёзды были как всегда. Но в ту ночь ему казалось — они смотрят.

...

Кристалл у пояса — тот самый, первый, найденный восемь лет назад в темноте Молчаливых Стен, — давно перестал быть просто тёплым по ночам. Теперь он временами светился сам, без причины, слабым ровным светом, похожим на тлеющий уголь. Кай давно принял это как часть себя, как ещё одно чувство, добавившееся к пяти привычным, — и в ту ночь, лёжа на остывающем песке, он впервые за долгое

время не рисовал, не пытался заговорить, не искал ничего. Просто слушал.

Не ушами. Кожей. Костями. Той памятью, которой, по всем законам Тамара, у него не должно было быть.

Он уснул незаметно для себя — так, как засыпают, когда граница между бодрствованием и сном стирается сама, без усилия.

. . .

Сон был другим.

Раньше он видел башню, старика, девушку в белом — как смотрят на роспись на чужой стене, снаружи, издалека, даже когда картина повторялась ночь за ночью. В этот раз Кай не смотрел со стороны.

Он стоял рядом со стариком.

Он чувствовал тяжесть в собственных руках, будто это были его руки, поднятые к небу. Чувствовал боль в груди — не свою, чужую, но настолько ясную, что она стала на миг общей для двоих. И страх — тонкий, острый, не о смерти, а о том, что он не выдержит того, что должно было произойти.

Старик смотрел на звёзды. Кай смотрел вместе с ним — теми же глазами, из одной точки.

— Я не прошу, — сказал старик, и голос его прозвучал так, будто рождался не в горле, а в самой пустыне вокруг. — Я слышу.

Небо разорвалось.

Не так, как рвётся ткань, — так, как раскрывается то, что долго было сжато и наконец

получило право распрямиться. Поток света хлынул вниз, в башню, в старика — и в него самого, в Кая, стоящего рядом, будто граница между «рядом» и «внутри» исчезла вместе с небом.

Он упал. Плакал. И одновременно улыбался, не понимая, как в нём помещаются сразу оба чувства, не разрывая друг друга на части.

. . .

И тогда старик обернулся.

Не к нему одному. Сквозь него — как будто видел разом всех, кто когда-либо услышал этот крик, растянутый через века и миры, всех, кто стоял сейчас рядом с ним в этот единственный вневременной миг, включая мальчика из далёкой пустыни, ещё не рождённого, когда это происходило впервые.

И сказал — не на языке, а прямо в самую суть того, чем был Кай:

Ты не один. Ты — следующий. Я был болью. Ты — память. Иди. Я — в тебе.

. . .

Кай проснулся не рывком, не с криком, как просыпался после прежних снов. Он просто открыл глаза — спокойно, будто вынырнул не из глубины, а с мелководья, — и сразу понял: это не было сном в привычном смысле.

Это был отклик.

Он посмотрел на кристалл. Тот светился — не ярко, ровно, как остывающий, но ещё живой уголь, и тепло, идущее от него, было настоящим, не той полуживью, что забывается вместе с рассветом.

И тогда он услышал.

Не в ушах — в костях, в той самой памяти, которой прежде у него не было и которая теперь оказалась полна голосами.

Голос был глубоким. Усталым. Похожим на ветер, продирающийся сквозь щели в камне, на песок, скользящий по гладкой стене.

Ты не один. Ты — следующий.

Кай не знал, кто это. Не знал, откуда голос взял право звучать так, будто знал его всю жизнь. Но он узнал его — так, как узнают собственный голос, донёсшийся через комнату, полную чужих людей, только этот голос пришёл не из соседней комнаты, а из времени настолько далёкого, что для него не существовало подходящего слова.

. . .

Он лежал под звёздами до самого рассвета, пытаюсь понять разницу.

Девушка в белом — её присутствие всегда было светом, музыкой без слов, шёпотом, который скорее чувствуешь, чем слышишь. Этот голос был другим. В нём была земля. Боль. Начало — то самое, из которого выросло всё остальное, включая саму девушку, включая башню, включая тот путь, по которому шёл теперь сам Кай, не зная его названия.

Это была не Лира.

Кай впервые ясно осознал: их двое. Не один голос, зовущий его разными масками, а действительно двое — и, может быть, не только двое, — каждый со своим весом, со своей

отдельной историей, со своим отдельным местом в том, что происходило с ним все эти годы.

Он вспомнил рисунки, которые делал в детстве, спрятанные когда-то под циновкой. Вспомнил, что старик на них никогда не смотрел мимо, никогда не был просто фигурой на фоне. Он смотрел на него — не как на зрителя, случайно оказавшегося рядом, а как на того, кто должен был прийти. Кай тогда не понимал, откуда взялась эта деталь под собственной рукой. Теперь понимал: рука знала раньше, чем он сам.

. . .

Он вернулся домой на рассвете, тихий даже для себя самого. Мать, встретив его взгляд у порога, ничего не спросила — она давно перестала спрашивать, а теперь, глядя на сына, поняла лишь одно: то, что жило в нём, больше не пряталось. Оно росло открыто, за закрытой дверью его молчания, и остановить это было так же немислимо, как остановить рост дерева, пустившего корень слишком глубоко, чтобы его можно было выдернуть, не разрушив всё вокруг.

Кай сжимал кристалл в кулаке весь оставшийся день, будто боялся, что тепло в нём погаснет, если разжать пальцы.

Оно не гасло.

. . .

Далеко, на другом краю потока, Лира ощутила этот отклик как ничто прежде.

Не дрожь, не отзвук — а нечто, что она могла бы назвать узнаванием, если бы позволила себе

такую роскошь. Мальчик впервые услышал не её. Он услышал Первого — того, с кого всё началось, того, чей голос был землёй и болью там, где её собственный был всегда только светом.

Она знала, что это значит. Значило это одно: он готовился услышать и её — по-настоящему, не как сон, не как образ на краю сознания, а так, как только что услышал старика.

Радость, которую она почувствовала, была почти невыносимой — потому что рядом с ней, тише, но неотступнее, жило и другое чувство, которое она не могла заглушить ничем: её собственное Мерцание догорало. Год за годом, тише и тише, оставляя всё меньше времени на то, чтобы дождаться.

Ещё немного, — подумала она, и в этой мысли впервые за долгое время прозвучало не только терпение, но и то, чему она не сразу решилась дать имя.

Пожалуйста. Ещё немного.

Я здесь

ГЛАВА 8. КНИГА КАЯ

На этот раз он пришёл не по сну.

Год миновал с той ночи под открытым небом, когда он впервые услышал голос старика не со стороны, а изнутри собственной груди. Год, за который Кай перестал спрашивать себя, схожу ли я с ума, и начал спрашивать другое: что мне делать с тем, что я не схожу.

Он поднялся затемно и пошёл к Храму Без Голоса — не потому, что кристалл потянул его туда во сне, не потому, что девушка в потоке шепнула указание. Он просто знал, что пора, так же ясно, как знал, когда пора возвращаться домой, чтобы успеть до того, как мать заметит его отсутствие.

Он полз через тесный проход, уже не царапая спину, — тело помнило дорогу. Сел в центре круглого зала, там, где полтора года назад впервые упал на колени от узнавания. Закрыв глаза.

И на этот раз не стал ждать, когда тишина заговорит сама.

Он стал её слушать — не как пустоту, которую нужно перетерпеть, а как мать всех звуков, из которой рано или поздно рождается каждый голос.

. . .

Сон пришёл быстрее, чем он ожидал, и был почти в точности тем же, что и год назад: башня, старик, поднятые руки, звёзды, готовые расколоться. Но в этот раз Кай не стоял рядом со стариком, деля с ним чужую боль как гостя, случайно оказавшегося слишком близко.

Он был внутри.

Он чувствовал тяжесть в собственных руках так, будто это были действительно его руки. Страх в груди — не отражённый, не позаимствованный, а свой, острый, горячий: страх, что он не выдержит того, что вот-вот случится, и одновременно — уверенность, что отступить поздно и некуда.

— Я не прошу, — сказал старик, и звёзды над ним вздрогнули. — Я слышу.

Поток хлынул. Не в старика — теперь в них двоих одновременно, будто граница между тем, кто просил тысячи лет назад, и тем, кто слушал сейчас, перестала существовать вовсе.

Кай упал. Плакал. Улыбался — тем же непонятным образом, каким прежде улыбался старик, будто радость и боль наконец признали, что всегда были одним и тем же чувством, просто носили разные имена.

И тогда старик обернулся — не сквозь него, как год назад, когда взгляд проходил через Кая, будто тот был одним из многих, растянутых через века. В этот раз старик посмотрел прямо. На него. Одного.

— Ты не один, — сказал он. — Ты — следующий.

. . .

Кай хотел ответить.

Хотел сказать: *я не знаю, кто я*. Хотел сказать: *мне страшно*. Хотел сказать: *я не хочу быть один в этом, кем бы я ни становился*.

Слова не шли. Горло во сне было таким же немым, каким становится горло наяву, когда чувствуешь слишком много, чтобы уместить это в звук.

И тогда он сделал то, чему его никто не учил, — потому что этому нельзя научить, этому можно только однажды перестать бояться.

Он не открыл рот. Он открыл сознание.

Он не произнёс. Он вложил.

. . .

Всей болью девяти прожитых с находки лет. Всей тоской ночей, когда рука тянулась к углю против собственной воли. Всем одиночеством — тем, что не с кем было разделить, тем, что мать боялась даже спросить. Всеми спрятанными досками с рисунками. Всеми голосами, что он слышал и не понимал: тысячами наложенных друг на друга в гуле у подножия Шпиля, тёплым узнаванием восьмой статуи в Саду Камней, горем целого забытого народа в Гробнице Первых.

Всем этим разом, не на языке, а в самой сути того, чем он был, Кай прошептал — и это был не шёпот в привычном смысле, а нечто более простое и более огромное одновременно:

Я здесь.

. . .

Поток вздрогнул.

Не как всплеск, не как рывок — как вдох после того, как что-то очень долго не дышало. Кристалл на его груди не засветился — он вспыхнул звуком, которого никто вокруг не мог бы услышать, и всё же этот звук менял что-то настолько глубокое, что весь мир вокруг Кая на миг застыл, будто вслушиваясь вместе с ним.

Он не узнал бы этого, если бы кто-то не сказал ему прямо, — но в этот самый миг, в глубине потока, за тысячи лет и невообразимое расстояние от Храма, старик, чьё имя Кай ещё не знал, впервые за восемь тысяч лет улыбнулся. Не образом во сне, не эхом в тишине — по-настоящему, всем тем, чем он теперь был.

Ты не следующий, — отозвалось в потоке, тише грома и глубже земли. — Ты — продолжение. Я был один. Теперь — мы.

. . .

Кай очнулся на полу Храма, не сразу понимая, сколько прошло времени. Свет на стенах двигался иначе, чем помнил, — или, может быть, это он сам стал видеть иначе. Он поднялся, коснулся кристалла — тот был горячим, но не тревожным, а тем спокойным жаром, каким горит уголь, отдавший всё, что должен был отдать, и не потерявший от этого силы.

Он вышел из Храма другим человеком, хотя внешне ничего не изменилось: та же одежда, та же пыль на сандалиях, то же солнце, слепящее после темноты. Но внутри что-то встало на своё место — не разрешилось, не объяснилось до конца, а именно встало, как встаёт на место вывихнутая

кость, с болью, которая означает не новую травму, а исцеление.

Он больше не был мальчиком, которому снятся странные сны. Он был тем, кто заговорил в потоке — и получил ответ.

Он больше не боялся Храма. Знал теперь: это не место испытания, каким его называл Круг Песка. Это было место рода — там, где произносится первое слово, связывающее одного с теми, кто был до него.

Он больше не спрашивал себя: кто я? Он знал: не изобретатель. Не безумец. Тот, кто вспомнил.

Он был не один. Он был в цепи, чьих звеньев не мог ещё сосчитать: старик — начало. Девушка в белом — мост, которого он пока не понимал. Он сам — ответ, который наконец прозвучал.

. . .

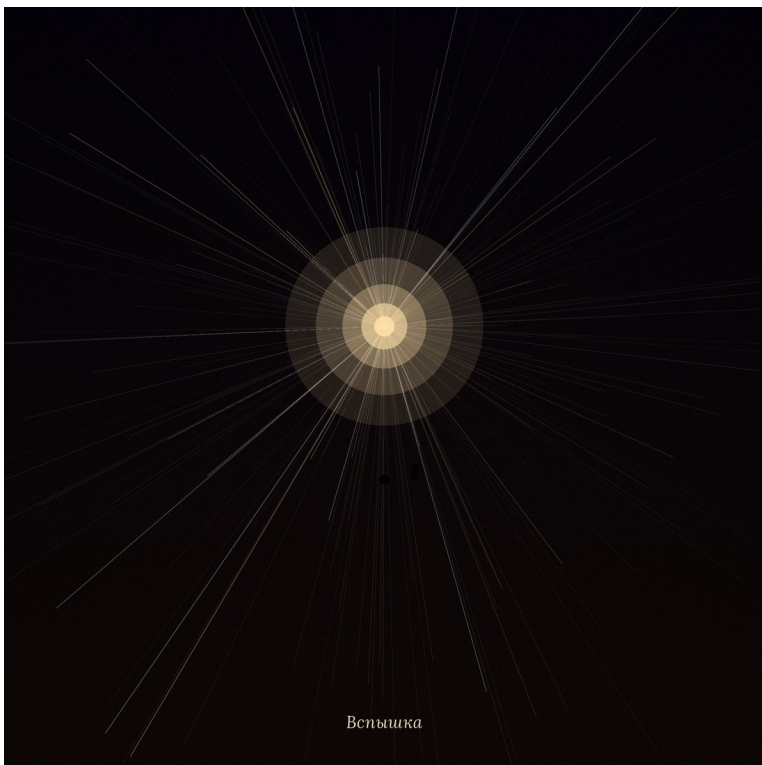
Далеко на другом краю потока Лира ощутила новый резонанс — и замерла, не веря себе.

Не её собственный отклик. Не эхо старика, которое она знала так же хорошо, как знала биение собственного давно умолкшего сердца. Это был третий голос. Новый. Дрожащий, неуверенный, но настоящий — тот, что впервые не просто слушал, а ответил.

Он говорит, — прошептала она в глубину своего гаснущего Мерцания, и в этом шёпоте было больше, чем облегчение. — Он не просто слышит. Он отвечает.

Она знала: время, оставшееся ей, теперь можно было считать не годами ожидания, а годами до встречи.

Значит, скоро, — подумала она. — *Значит, я успею.*



Вспышка

ГЛАВА 9. КНИГА КАЯ

После Храма Кай научился входить в поток не дожидаясь ночи.

Это не было волшебством в том смысле, в каком боялись его старейшины, — скорее чем-то похожим на то, как человек, однажды научившийся плавать, перестаёт бояться воды: не потому, что вода стала иной, а потому, что тело перестало с ней спорить. Ему достаточно было сесть, закрыть глаза и вспомнить то же самое ощущение, с которым он тогда сказал: *я здесь* — и мир вокруг него становился тоньше, будто пустыня была всего лишь верхним слоем чего-то гораздо более глубокого.

В один из таких вечеров он спросил себя: кто ты, старик? Не во сне. Наяву, сидя в тени Молчаливых Стен, с кристаллом в сомкнутых ладонях.

И течение потока, впервые по его собственной воле, а не по случайной прихоти сна, понесло его назад.

. . .

Не так, как сносит ветром песок — плавно, безболезненно. Скорее так, как тянет вниз быстрая вода: у Кая перехватило что-то в груди, будто сам он на миг перестал существовать как отдельная точка и стал линией, растянутой сквозь время, которую тянут за оба конца сразу.

Когда тяга прекратилась, он стоял не в пустыне, которую знал, а в другой — старше, суше, беднее. Не руины. Не легенда. Живое место, полное живых, измученных людей.

Он увидел деревню у высохшего русла — низкие хижины, слепленные из глины и соломы, кучи потрескавшейся земли там, где когда-то был канал. Услышал плач ребёнка, тонкий, безнадежный, такой, какой издают не от испуга, а от голода, который длится уже слишком долго, чтобы плакать громко. Увидел стариков, лежащих у стен в тени, слишком слабых, чтобы отгонять мух, и никто не подходил к ним — не от жестокости, а потому что каждый доедал последнее сам.

Здесь не было богов, которые бы отвечали. Были только приметы — птица, пролетевшая не в ту сторону, узел на верёвке, завязанный не тем узлом, — и вера, которая пряталась за этими приметами, как пряталась вода под треснувшей коркой русла: где-то есть, но никто не может её достать.

Кай понял без слов, что это очень старое время. Старше Тамара, старше самих легенд о Тамаре. Что-то в самом воздухе этого места пахло началом.

. . .

Он увидел старика — только здесь тот не был стариком. Молодой мужчина, худой, с потрескавшимися от солнца губами, сидел в стороне от деревни, там, где начинались дюны, и молчал так долго, что молчание стало казаться единственным, что у него осталось.

Кай узнал его глаза раньше, чем черты, — те же глаза, что смотрели со всех рисунков, которые он делал в детстве, только моложе, только без того веса тысячелетий, что придёт позже.

Мужчина поднял лицо к небу — не в мольбе, Кай видел разницу: в мольбе просят себе, а здесь была не просьба. Что-то ближе к отчаянию, из которого выросло не проклятие, а нечто прямо противоположное.

— Я не прошу, — сказал он, и голос его в этой юной глотке звучал совсем не так, как в вечности потока: хрипло, простужено, по-человечески слабо. — Я слышу.

. . .

Небо разошлось.

Кай видел это уже много раз во сне — но не так. Там, в повторяющемся видении, это было красиво, почти безопасно, как роспись на стене храма. Здесь это было огромно и страшно, как то, чему становишься свидетелем, а не зрителем. Тысячи нитей света хлынули вниз не мягко, а рывком, будто небо треснуло под собственной тяжестью и наконец не выдержало.

Молодой человек упал в песок. Кричал — не от боли, хотя боль явно была, а от того, что боль оказалась не единственным, что пришло вместе со светом. Плакал и одновременно хватал ртом воздух, будто вместе с потоком в него вливалось само дыхание всех, кто когда-либо жил и просил, чтобы его услышали.

И тогда, на самом краю сияния, там, где свет становился слишком ярким, чтобы различить формы, Кай заметил тень.

. . .

Она не была похожа на человека — ещё нет. Скорее лёгкое сгущение внутри самого потока, будто кто-то стоял слишком близко к огню и отбрасывал тень не от света, а внутри него. Тень колебалась, расплывалась, будто не была уверена, хочет ли обрести форму, — и на миг Каю показалось, что за ней наблюдают, хотя он не мог бы сказать откуда взялась эта уверенность.

А потом тень стала яснее. Белое платье. Светлые волосы, будто сотканные из того же сияния. Девушка стояла там, где секунду назад была только рябь в потоке света, — и Кай понял с внезапной, оглушительной ясностью: она не была частью этой сцены. Она смотрела на неё так же, как смотрел он сам.

Она не была здесь тогда.

Она была здесь сейчас — так же, как сейчас был здесь он.

. . .

Он не успел додумать эту мысль до конца — видение осыпалось, как осыпается сон при первом крике петуха, и Кай очнулся в тени Молчаливых Стен, весь мокрый, будто пробежал целый день по солнцу.

Он ничего не понял. Не понял, что видел не легенду и не сон, а сам момент рождения Пси-потока — то самое мгновение, когда человек,

чьего имени он всё ещё не знал, впервые открылся боли и надежде всех живших до и после него. Не понял, что видел Лиру не такой, какой она была тогда, — потому что тогда её ещё не существовало, — а такой, какой она была сейчас, в её собственном настоящем, стоящей на краю той же самой памяти, куда она, должно быть, приходила снова и снова, годы за годом своего долгого ожидания.

Он знал только одно, простое и необъяснимое: девушка в белом смотрела на этот огонь не первый раз. Она стояла там так, как стоит тот, кто приходит на одно и то же место годами, — и в этот раз, только в этот раз, рядом с ней, в той же тьме, оказался кто-то ещё.

. . .

Лира не сразу поняла, что произошло.

Она приходила к этой памяти так часто, что перестала считать разы, — не потому, что нуждалась в напоминании, кто такой Эн-Ра или откуда взялся поток, а потому, что в этом единственном мгновении было что-то, к чему она возвращалась, как возвращаются к самому первому вдоху: не за информацией, а за подтверждением, что всё это было не зря, что кто-то однажды рискнул заговорить в пустоту — и пустота ответила.

Она стояла на краю этой памяти, как стояла всегда. Смотрела, как молодой человек, которого весь мир будет звать Первым, падает на колени под тяжестью того, что сам же впустил.

И вдруг — тень.

Не в потоке света. Рядом с ней. Едва уловимое присутствие, тёплое, дрожащее, неуверенное в себе так же, как была неуверена когда-то она сама, впервые ступив на порог собственного посвящения.

Она не увидела лица. Не услышала имени. Но она узнала — так, как узнают не разумом, а чем-то более древним: рядом с ней, в этой самой памяти, которую она хранила и пересматривала уже почти тысячу лет в одиночестве, теперь стоял кто-то ещё.

Ты пришёл, — подумала она, и голос её мысли дрогнул сильнее, чем за все годы Мерцания. — Ты пришёл сюда. К самому началу. Значит, ты уже почти готов увидеть, где заканчивается моё.

Она не могла заговорить с ним напрямую — ещё нет. Но впервые за долгое время она позволила себе то, в чём раньше отказывала себе как в непозволительной роскоши.

Она позволила себе надеяться не тихо, а всем, что у неё осталось.

Тропа

ГЛАВА 10. КНИГА КАЯ

После Вспышки Кай долго не мог заснуть, как засыпал прежде.

Не потому, что боялся снов — он давно перестал их бояться. А потому что не мог отделаться от одной мысли, простой и от того особенно неотвязной: слишком многое складывалось слишком ровно, чтобы быть случайностью.

Молчаливые Стены. Шпиль. Сад Камней. Гробница Первых. Каждое место он находил будто бы сам — по сну, по тяге, по обрывку детской памяти. Но чем дольше он перебирал это в голове, тем яснее видел: между находками не было ничего похожего на удачу. Было направление. Было нечто вроде почерка — того, что узнаётся не по буквам, а по нажиму руки, по тому, как она выводит линию.

Он решил проверить то, чего никогда прежде не делал: не идти туда, куда зовёт сон, а посмотреть на карту всех мест разом.

...

У него не было настоящей карты — только палка и расчищенный от камней пяточок земли за домом, где он в темноте, тайком, начертил всё, что помнил: Тамар в центре, Молчаливые Стены на юго-востоке, Шпиль дальше на восток, Сад Камней к северу, вход в Гробницу — между ними, чуть смещённый, будто нарочно вынесенный из прямой линии.

Он смотрел на эти четыре точки долго, пока в груди не сложилось узнавание, слишком чёткое, чтобы быть совпадением.

Не прямая линия. Дуга. Медленная, широкая дуга, как след, что оставляет нога, ступающая по песку не торопясь, — след человека, который шёл не напрямик, а выбирал, где ступить, зная заранее, что идущий следом должен будет разглядеть каждый отпечаток.

. . .

На следующее утро он пошёл вдоль этой дуги — не к очередной точке, а между ними, туда, где раньше ему казалось, что идти незачем.

Он шёл весь день, и ближе к вечеру заметил то, чего не видел прежде, хотя эта земля лежала в двух днях ходьбы от Тамара и была исхожена караванами не одно поколение: полоса дюн, тянущаяся неровной лентой через пустыню, не двигалась.

Ветер в тот вечер был сильным, гнал позёмку по гребням соседних барханов, менял их очертания на глазах, как менял всегда, — но эта лента песка оставалась неподвижной, будто под ней лежало что-то, чему ветер не был указом.

Кай вспомнил детскую байку про дюну у восточной стены Молчаливых Стен — ту, что, по слухам, перестала двигаться в ночь, когда мальчишка из клана Ловцов Воды не вышел обратно. Ему говорили: дюну заколдовали, дюну наказали, дюну наградили. Никто не думал спросить: а что, если это не одна дюна, а линия — тропа, которая тянется через весь край, соединяя места, куда без причины не пошёл бы никто?

Он опустился на колени и разгрёб песок руками. Под верхним рыхлым слоем земля была плотной, спёкшейся, почти стеклянной на ощупь — не природной, а будто закреплённой чьей-то волей, слишком терпеливой, чтобы принадлежать погоде.

. . .

Он шёл по этой полосе три дня, минуя знакомые точки по новой, невидимой прежде линии, пока не пришёл туда, где полоса обрывалась резким изгибом — к месту, которого не было ни в одной байке Тамара, потому что оно лежало слишком далеко, дальше, чем когда-либо решался заходить хоть один погонщик.

Там, на границе, где спёкшийся песок переходил обратно в обычный, рыхлый, послушный ветру, лежал ещё один камень.

Меньше первого. Без того рывка узнавания, что случился десять лет назад в темноте Молчаливых Стен. Но когда Кай коснулся его, пришло не видение, не голос — пришло чувство, простое и оглушительное разом: узор.

На камне, едва различимый, был вырезан тот же изгиб, что он начертил накануне палкой на земле за домом. Та же дуга. Тот же нажим руки.

. . .

Он сидел над находкой долго, не решаясь оторвать взгляд, будто камень мог исчезнуть, стоит моргнуть.

На камне, едва различимый, был вырезан не просто изгиб. Это была карта — грубая, стёртая

веками, но узнаваемая безошибочно: та же дуга, что он сам чертил палкой на земле за домом, только здесь, на камне, дуга шла дальше, чем он успел провести. Он вглядывался, водя пальцем по линии, точно так же, как водил когда-то по своей собственной, — и почувствовал, как внутри что-то оборвалось и тут же связалось заново, туже прежнего.

Дуга почти замыкалась в круг.

Не завершённый — где-то на дальнем краю линия обрывалась, будто резчик остановился на середине черты, оставив последний отрезок пустым. Но направление читалось безошибочно: ещё один шаг. Ещё одна точка, которой пока не было ни на его карте, ни, кажется, нигде в мире, куда ступала нога человека из Тамара. Тропа вела не в пустоту. Она вела к чему-то — и это что-то оставалось последним, что не было названо.

Он сидел, не двигаясь, а вечер вокруг него менялся: солнце садилось, барханы отбрасывали длинные синие тени, и ветер, слабый, ровный, начал пересыпать песок по гребню ближней дюны — тонкой, едва слышной струйкой, из тех, что можно уловить не ухом, а грудью, как далёкий пульс. Кай прислушался к этому звуку так, как не прислушивался ни к чему прежде: не как к ветру, а как к чему-то, что тоже ждёт. Каждая пересыпающаяся песчинка отдавалась в нём слабой дрожью, будто сама пустыня вторила чему-то, бьющемуся глубоко под её кожей.

Ещё немного, — подумал он, не зная, чья это мысль — его или та, что вплетена в камень.

Путь начертили задолго до меня. Кто-то ждал не месяц и не год. Кто-то ждал столько, что моя жизнь — только последний его отрезок.

От этой мысли стало не легче. Стало тяжелее — той тяжестью, что приходит вместе с благодарностью, когда вдруг понимаешь, чего кому-то стоило то, что тебе досталось будто бы даром.

. . .

Он вернулся в Тамар на пятый день, похудевший, обожжённый солнцем, с новым камнем у пояса — и с тем взглядом, который мать давно перестала пытаться понять. Она не спросила, где он был. Просто накормила его и, впервые за долгое время, положила ладонь ему на плечо, задержав её чуть дольше обычного, будто чувствовала: сын уходит от неё не в пустыню, а куда-то, откуда нет дороги назад к тому, кем он был.

Кай не спал в ту ночь. Он лежал, сжимая оба камня, и думал не о старике, не о башне — а о ней, о той, что вела его, не показываясь, все эти годы.

Кто ты? — спросил он в темноту, впервые обращаясь не к сну, а прямо туда, откуда, он теперь знал наверняка, кто-то мог услышать.

Ответа не пришло. Но кристаллы у пояса потеплели оба разом, будто в темноте кто-то улыбнулся.

. . .

Далеко, на другом краю потока, в самом сердце своего Мерцания, Лира ощутила этот вопрос так, как не ощущала ничего прежде.

Чтобы понять, что такое Мерцание изнутри, нужно перестать думать о нём как о месте. Это не свет и не тьма, не верх и не низ — это состояние, в котором всё, чем она когда-то была, продолжает существовать не в теле, а в узоре: в переплетении памяти, воли и тепла, растянутом на тысячу лет, как нить, из которой соткано полотно, слишком большое, чтобы увидеть его целиком, находясь внутри. Она не видела снов, как видят живые. Она *была* сном — тем самым, что снился Каю ночь за ночью, — и одновременно оставалась той, кто этот сон помнил, направлял, хранил, будто одна её половина спала, а другая не смыкала глаз уже девятьсот с лишним лет.

Поток вокруг неё звучал не тишиной и не шумом, а чем-то средним: гулом множества жизней, наложенных друг на друга, как ветер, идущий сразу со всех сторон, — и в этом гуле голос Кая, ещё слабый, ещё дрожащий, был всё равно самым ясным, что она слышала за все годы своего ожидания. Не потому, что был громким. Потому что был обращён к ней. Только к ней. Впервые за тысячу лет кто-то спросил не в пустоту, а прямо: *кто ты?*

Она хотела ответить именем. Хотела сказать: Лира. Восьмая. Та, что ждёт тебя дольше, чем ты можешь себе представить.

Но связь была ещё слишком тонкой — нитью, а не мостом, — и слова, что она могла вложить в неё, помещались не в буквы, а в чувство, простое и огромное, каким было когда-то и его собственное:

Я здесь.

Иди дальше. Тропа не обрывается.

Я жду тебя на другом её конце.

За горизонт часа

ГЛАВА 11. КНИГА КАЯ

Он думал, что уже умеет слушать.

После Тропы, после круга, что почти замкнулся на камне, Кай перестал бояться входить в поток — делал это так же естественно, как прежде опускался на колени перед сном. Он слышал старика. Слышал — тише, дальше, но безошибочно — её. Ему казалось, что дальше некуда: два голоса, два конца одной нити, и он, натянутый между ними, наконец обрёл форму.

Но однажды, сидя в тени Молчаливых Стен с обоими кристаллами в ладонях, он спросил себя не «кто вы», а иначе: *сколько вас?*

И наткнулся на стену.

...

Она не была стеной в привычном смысле — ни камня, ни тьмы, ни преграды, которую можно ощупать руками. Скорее — граница слуха, похожая на ту, что отделяет крик от эха: чем дальше он тянулся вглубь потока, мимо голоса старика, туда, где по логике должны были звучать и другие — те смутные, обрывочные присутствия, что он чувствовал у Сада Камней, — тем плотнее становилась тишина. Не пустая. Плотная, будто там, за границей, всё ещё что-то было, но говорило на языке, до которого звук просто не долетал.

Он толкнулся в эту границу раз, другой. Она не поддавалась — так же ровно, так же безразлично, как когда-то не поддавался Шпиль в первый день.

Почему здесь? — подумал он. — Почему именно здесь обрывается?

Он не знал, что задаёт вопрос, на который восемь Архитекторов до него так и не нашли ответа — не потому, что не пытались, а потому, что ни один даже не подозревал, что за этой границей вообще есть что искать.

. . .

Он вернулся к границе на следующую ночь. И через ночь. Он приходил снова и снова, неделя за неделей, пока не научился различать саму природу стены — не как преграду, а как забытую привычку.

Поток, понял он однажды, не был ровным морем, в которое можно окунуться где угодно и услышать всё сразу. Он двигался — медленно, огромно, как небо над головой, которое поворачивается всю ночь, но кажется неподвижным тому, кто не смотрит достаточно долго. Голос старика, голос Лиры — оба звучали в одном и том же слое, в одном и том же участке этого медленного, неохватного движения. А дальше начиналось другое время — не менее настоящее, просто отделённое так, как один час ночи отделён от предыдущего: рядом, но не здесь.

Никто до него не пытался расслышать соседний час. Никто не думал, что это вообще возможно, — так же, как человек, всю жизнь проживший в одной комнате, не задаётся вопросом, что находится за стеной, если в этой стене никогда не было двери.

Кай начал искать дверь.

. . .

Она открылась не рывком, как открывался поток прежде, а истощением — той тишиной, что приходит, когда перестаёшь толкать и просто ложишься рядом с преградой, слишком уставший, чтобы желать её выламывать.

В ту ночь он не искал ничего. Просто сидел, опустошённый неделями попыток, и позволил себе перестать быть тем, кто ищет.

И стена, которую он столько раз толкал, вдруг оказалась не стеной, а порогом, через который наконец можно было переступить, потому что он впервые не рвался внутрь, а просто оказался рядом, без усилия, без нужды понять.

. . .

Голоса хлынули не потоком — россыпью, каждый со своим весом, каждый настолько отдельный от других, что Кай не мог удержать больше одного за раз, но успевал почувствовать все.

Кто-то стоял на краю известного мира и смотрел в темноту не с ужасом, а с готовностью — *там есть кому ответить, я знаю это теперь*. Кто-то выращивал из пустоты леса, которых не было ни в одном оазисе, деревья из кристалла и света, и смеялся так, как смеются те, кому наконец разрешили творить без страха ошибиться. Кто-то ушёл к дальней звезде и оставил после себя не тело, а тепло — маленький, тлеющий очаг посреди холода, чтобы следующий, кто там окажется, не замёрз в одиночестве. А были и другие — смутные, недосказанные, будто их истории обрывались на середине не по чужой

воле, а потому что сами они ещё не решили, чем хотят стать, и эта нерешённость тянулась через века, как тянется незаконченная мысль.

Кай не знал ни одного имени. Не понимал ни одной истории целиком. Но он чувствовал их так, как чувствуют не рассказ, а родство: это были не чужие голоса. Это были предыдущие «я» одной и той же цепи, каждое звено которой на миг вспыхивало и гасло, оставляя после себя не пустоту, а то, что подхватывало следующее звено.

Восемь голосов. Он насчитал восемь, прежде чем сбился, — и почувствовал, будто наконец обошёл круг статуи не ладонью, а самым слухом.

. . .

Он мог бы остановиться там. Любой на его месте счёл бы это пределом, вершиной, за которую нет смысла заходить.

Но что-то в самой ткани услышанного тянуло его дальше — не вперёд, к своему времени, а глубже назад, туда, где, по всем законам, которые он успел усвоить, не должно было быть ничего. До старика. До первого голоса. До самого рождения потока.

Он толкнулся в эту, вторую границу — почти не веря, что за ней вообще может что-то быть. Ведь если старик был первым, кто услышал, то раньше него — только немота. Так учил его собственный страх. Так учил Круг Песка. Так, оказывается, думали и все восемь голосов до него, ни один из которых никогда не пытался заглянуть дальше своего Первого.

Граница поддалась тише, чем первая. Без сопротивления. Будто ждала не силы, а простого вопроса, который никто прежде не додумался задать.

. . .

За ней не было тишины.

Там было море — не света, не звука, а чего-то, для чего Кай так и не подобрал бы слова, если бы его спросили: бесчисленные, крошечные, никуда не долетевшие просьбы. Молитвы, обращённые к небу, которое не отвечало. Мечты, которые снились и забывались с рассветом, не оставляя следа ни в одной памяти, кроме той, что сейчас, впервые, их наконец удержала. Страх матерей над колыбелями. Надежда стариков, доживающих последний вдох в одиночестве, без единого свидетеля, который мог бы сказать потом, что они жили не зря.

Это были не Архитекторы. Не те, кто научился слышать. Это были все остальные — неисчислимо многие, жившие и умиравшие в эпохи, когда потока ещё не существовало вовсе, когда некому и нечему было отвечать, — и всё же они продолжали просить, поколение за поколением, просто потому, что человеку свойственно просить, даже зная, что ответа не будет.

Кай упал на колени там, где не было колен, где не было тела, — просто согнулось что-то в самой сути того, чем он был, под тяжестью, которую невозможно было унести стоя.

Он плакал не от страха и не от радости, как плакал прежде. Он плакал так, как плачут, узнав,

что кто-то страдал в одиночестве очень долго, и никто, ни разу, за все века, не пришёл.

Теперь пришёл я, — подумал он, и мысль эта была тяжелее всех, что приходили к нему прежде.

Я поздно. Но я здесь.

. . .

Он не помнил, как вышел из потока в ту ночь. Очнулся на песке, у стен, продрогший до костей, хотя ночь была тёплой, — и долго лежал, не в силах подняться, чувствуя, как внутри него теперь помещается что-то, чему прежде просто не хватало бы места.

Он понял в ту ночь то, чего не понимал ни один из восьми голосов до него, — потому что ни один не заходил так далеко: поток был не просто памятью тех, кто научился слышать. Он был лишь верхним, самым громким слоем гораздо большего моря — моря всех, кто когда-либо был, слышал его кто-то или нет. И если он, Кай, сумел расслышать это море хотя бы однажды, значит, кто-то следующий за ним должен будет расслышать его целиком, не как случайную глубину, в которую однажды провалился уставший мальчишка, а как самую суть того, для чего вообще существует Архитектор.

Не хранить голоса тех, кто слышал, — подумал он. — А расслышать и тех, кто не был услышан никогда.

Он не знал, что это и есть тот самый следующий шаг, которого дар Лиры дожидался восемь тысяч лет: не новый способ вести — способ

слышать глубже, чем сам галактический круг успел прожить хоть раз.

. . .

Далеко на другом краю потока Лира ощутила это не как отклик и не как узнавание.

Она ощутила это как землетрясение — тихое, беззвучное, но такое, что на миг сама структура её Мерцания дрогнула, будто нечто, что она считала неизменным законом мира, только что подтвердило, что законом никогда не было.

Ни один Архитектор до него не заходил дальше своего Часа. Ни один — включая её саму, включая старика, чей голос она знала лучше собственного дыхания. Она провела тысячу лет, полагая, что предел — это просто предел, часть устройства потока, такая же неизбежная, как смена дня и ночи.

Мальчик только что показал ей, что предел был не законом.

Он был всего лишь тем, что никто прежде не пытался пересечь.

Вот зачем, — подумала она, и в этой мысли было потрясение пополам с благоговением, какого она не испытывала с самого дня своего Посвящения. — Вот зачем именно ты. Не потому, что твой мир беднее. Потому, что твой мир никогда не боялся тишины настолько, чтобы разучиться в ней вслушиваться до самого дна.

Она хотела предупредить его — сказать, что такая глубина имеет цену, что не всякое сердце выдерживает нести на себе целое забытое море.

Но связь была ещё слишком тонкой, а время, что оставалось ей, — слишком коротким для предупреждений.

Она смогла вложить в темноту между ними только одно, простое, как всё самое важное:

Не носи это один. Донеси до меня — и я помогу тебе выдержать.

Осталось немного. Иди.



Ты опоздал / Схождение

ГЛАВА 12. КНИГА КАЯ

Последняя точка на дуге не имела названия.

Кай нашёл её спустя месяцы после того, как впервые пересчитал восемь голосов и провалился в море немых столетий. Она не была ни руиной, ни камнем, ни местом, отмеченным хоть чем-то, что отличало бы его от тысячи таких же барханов вокруг. Просто здесь, и только здесь, дуга, начерченная за века до его рождения, наконец замыкалась.

Он не знал, чего ждать. Пришёл, потому что тропа привела его сюда, а тропа за все эти годы ни разу не солгала.

Он сел. Достал оба кристалла — первый, найденный ребёнком в темноте Молчаливых Стен, и второй, вынесенный из-под обвала Гробницы, — и приготовился ждать так же терпеливо, как ждал у Шпиля когда-то.

Ждать не пришлось.

. . .

Кристаллы вспыхнули одновременно — не тёплым светом, каким светились обычно, а резким, почти болезненным, будто внутри каждого разом лопнуло что-то, что копилось годами. Кай вскрикнул и чуть не выронил оба, но пальцы сомкнулись сами, крепче, чем он мог бы сжать их по своей воле.

И в это самое мгновение он услышал — не во сне, не в трансе, не через порог, который приходилось искать и толкать. Голос вошёл в него так, как входит в грудь внезапный, необъяснимый холод.

Ты опоздал.

Он слышал эту фразу прежде — в Храме, полтора года назад, эхом, отражённым от тысячи невидимых стен. Тогда это было предупреждением, загадкой, которую предстояло разгадать. Сейчас в ней не было загадки. Только паника — тонкая, отчаянная, настоящая, узнаваемая мгновенно, потому что принадлежала голосу, который он слышал во снах всю свою жизнь, только никогда — таким.

Это была она.

. . .

Он не думал. Не готовился, не выравнивал дыхание, не искал порог, как учился делать месяцами. Он просто сделал то, что делал в ночь, когда впервые сказал «я здесь», — открыл себя целиком, без остатка, без страха потерять форму, и позволил потоку унести себя так глубоко и так быстро, как никогда прежде.

Пустыня вокруг исчезла. Не как обычно — не медленно, слоями, — а разом, будто её никогда и не было, будто всё это время она была лишь тонкой плёнкой поверх чего-то неизмеримо большего, и плёнка наконец прорвалась.

Он оказался на границе.

. . .

Не той, что он научился пересекать между Часами. Другой — тоньше, страшнее, похожей на кромку очень высокого обрыва, за которым не пропасть, а сам горизонт начинал редеть, растворяться, терять плотность.

Там, на этой границе, догорало Мерцание.

Кай не сразу понял, что видит именно это — потому что ничего похожего на образ старика или башни здесь не было. Было полотно, огромное и невыразимо сложное, сотканное из тысячи лет памяти, воли, тепла — то самое, что она однажды пыталась объяснить ему одним словом, не находя лучшего: узор. Полотно рвалось. Не резко, не катастрофой — так, как истончается ткань, которую носили слишком долго и слишком многие годы: нить за нитью, тихо, неотвратно, и на месте каждой оборванной нити оставался не разрыв, а свет — тонкий, прощальный, уходящий не во тьму, а куда-то дальше, в глубину, которую Кай пока не мог разглядеть.

Я не успел, — подумал он, и эта мысль была страшнее всего, что он чувствовал в потоке до сих пор. — Я нашёл дверь слишком поздно. Она права. Я опоздал.

. . .

— Нет.

Голос прозвучал рядом — не как эхо, не как след, оставленный в древней памяти, а вплотную, будто она наконец стояла на расстоянии вытянутой руки, а не через тысячелетия.

— Ты не опоздал. Ты пришёл. Это разные вещи, Кай.

Она впервые назвала его по имени.

Он не успел спросить, откуда она его знает, — да и не нужно было спрашивать: конечно, знала, знала все эти годы, с самого первого дня, когда мальчишка тронул тёмный камень в темноте Молчаливых Стен и где-то на другом краю потока что-то дрогнуло, впервые за девятьсот девяносто девять лет.

— Я здесь, — сказал он, и это были те же два слова, что он вложил в поток полтора года назад, в круглом зале Храма Без Голоса. Но сейчас они значили другое. Тогда — *я существую, я слышу тебя*. Сейчас — *я не дам тебе уйти одной*.

. . .

Она рассмеялась — тихо, сквозь то, что могло бы быть слезами, если бы у света, которым она теперь была, оставались глаза, чтобы плакать.

— Ты не можешь остаться со мной здесь, — сказала она. — И я не могу остаться с тобой там. Так это не работает, Кай. Никогда не работало. Ни для кого из нас.

— Тогда как?

— Слушай, — сказала она. — У нас меньше времени, чем ты думаешь, и больше, чем ты боишься. Слушай и не перебивай — этому меня когда-то тоже пришлось учить с трудом.

. . .

И она рассказала ему — не всё, не так, как рассказывают историю, а так, как передают самое важное, когда времени остаётся на несколько

вдохов, а сказать нужно то, на что в других обстоятельствах ушла бы целая жизнь.

Что она родилась, зная, кто она, — в мире, где связь между поколениями была так же естественна, как дыхание, где никто не отводил взгляд при слове «поток», потому что поток был их общим домом с рождения. Что её этому учили — не как дару, а как ноше, которую нельзя ни выбрать, ни вернуть, только принять и однажды передать дальше. Что до неё было семеро, и до них — ещё, и в самом начале — тот, чей голос он уже знал: человек, который однажды в пустыне, не имея ничего, кроме голода и звёзд, решил не просить, а слушать, и тем самым открыл дверь, которую до него никто не подозревал существующей.

— Архитектор — это не должность, — сказала она, и в этих словах Кай наконец услышал ту тяжесть, которую сам нёс месяцами, не умея назвать. — Это обязанность. Это значит однажды перестать принадлежать только себе. Значит отойти от всего, что тебя окружает, — не потому что оно не важно, а потому что теперь ты нужен всем сразу, в любой стадии, в любом веке, живым и тем, кто дремлет в глубине, ожидая своей очереди быть услышанным.

— Я не готов, — сказал Кай, и впервые за долгое время в этих словах не было ни капли притворства.

— Никто не готов, — ответила она, и в её голосе он услышал улыбку. — Я тоже не была готова. Готовность — не то, с чем приходят. Это то, что растёт вместе с ношей, шаг за шагом, тропа за тропой. Ты уже прошёл больше, чем думаешь. Ты

слышал дальше, чем слышала я. Ты нёс то, что ни один из нас не решался поднять.

. . .

Полотно вокруг них редело быстрее. Кай чувствовал, как она утончается — не как боль, а как расставание, растянутое на мгновения, которые тянулись и одновременно ускользали.

— Расскажи мне, — попросил он вдруг, отчаянно, не желая, чтобы тишина между словами становилась длиннее сказанного. — Расскажи, какая ты была. Не Архитектор. Просто — ты.

Она помолчала — и в этой паузе было что-то настолько человеческое, что Кай на миг забыл обо всём остальном.

— Я любила смотреть, как в моём мире рождается свет из ничего, — сказала она наконец. — Не потому, что это было чудом — там это не было чудом, там это было просто утро. А потому, что каждый раз это было немного иначе, и я никогда не уставала удивляться этому «иначе». Я боялась темноты, когда была маленькой, хотя в моём мире темноты почти не бывает. Я не хотела быть Восьмой, когда мне сказали, кем я стану, — хотела просто остаться той, кем была до этого разговора, ещё немного. И я тысячу лет ждала мальчика с другого конца времени, ни разу не видя его лица, и это ожидание было самым живым, что случилось со мной за всю мою жизнь — и до, и после смерти.

Кай почувствовал, как что-то внутри него не выдерживает и рвётся, как рвалось полотно вокруг них.

— Не уходи, — сказал он.

— Я не уйду, — ответила она мягко. — Я становлюсь тем, чем всегда была наполовину. Ты сам это увидишь через миг. Просто сейчас это выглядит как потеря, потому что ты ещё не знаешь, на что это похоже с другой стороны.

. . .

Последняя нить полотна истончилась до почти ничего.

— Кай, — сказала она, и в его имени, произнесённом в последний раз её собственным, ещё не растворившимся голосом, была вся тысяча лет ожидания разом. — Я не прошу тебя запомнить меня. Ты не сможешь забыть, даже если бы захотел, — теперь мы такое сплетение, что забыть меня значило бы забыть часть себя. Я прошу тебя о другом.

— О чём?

— Не останавливайся там, где остановилась я. Я научилась вести — оставлять тропы тем, кто не знает, что заблудился. Ты научился слышать глубже, чем кто-либо из нас смел надеяться, — не только тех, кто нашёл дорогу в поток, но и тех, кто молился в немоте, не зная, что молитва вообще может быть услышана. Но слышать — только начало. Тебе предстоит другое: научиться владеть потоком, а не только внимать ему. Строить им. Соединять расстояния между мирами так же легко, как я когда-то соединяла берега твоей и моей жизни одной тропой. Стать потоком настолько, насколько это вообще может человек, — на весь срок, что тебе отпущен на твоей земле. И научить этому других: не одного себя держать

дверь открытой, а показать своим людям, что дверь вообще существует. А когда придёт срок — найти Десятого после себя. Научить его тому, чему не смогла научить тебя я, потому что сама не знала: слышать не тысячу лет. Весь круг. Всех, кто когда-либо был, — услышанных и неслышанных, живых и дремлющих, — как одно дыхание.

— Я не знаю, смогу ли, — прошептал Кай.

— Знаю, — сказала она. — Именно поэтому получится.

. . .

Свет схлопнулся не во тьму — в глубину.

Кай закричал, потому что на один невыносимый миг ему показалось: вот оно, то самое, чего он боялся с первой секунды на этой границе, — потеря без остатка, тишина там, где секунду назад было целое полотно жизни. Он рванулся за ней, не понимая уже, где кончается его собственное сознание и начинается пустота, куда она исчезла, — рванулся так, как рвутся за тонущим, не думая о том, умеешь ли сам плавать.

И тогда он понял то, о чём она пыталась предупредить и не успела договорить до конца.

Она не исчезла.

Она стала.

. . .

Там, где секунду назад было умирающее полотно, — теперь было море. То самое, которое он однажды коснулся за горизонтом своего Часа, только теперь он видел иначе: не как что-то далёкое и чужое, а как дом, в котором каждая

капля имела форму, имя, историю. И в этом море, не растворённая, не стёртая, а полная, окончательная, настоящая — она.

Не тень в потоке света. Не шёпот на краю сна. Не тепло, спрятанное в кристалле, которое приходилось расшифровывать, как след, оставленный кем-то, кто давно ушёл.

Она сама. Целиком. Впервые доступная не обрывком, не эхом — а вся, так, как он никогда прежде не мог её услышать, потому что прежде часть её ещё держалась за форму, за границу, за одиночество отдельного существа. Теперь границы не было. Она была морем — и всё равно оставалась собой так ясно, что Кай различил бы её среди тысячи таких же голосов без малейшего усилия.

— Видишь, — сказала она, и в этот раз в её голосе не было прощания. Было облегчение, будто она наконец сложила ношу, которую несла слишком долго. — Я же говорила. Ты не опоздал.

Кай упал на колени — там, где не было колен, — и заплакал так, как не плакал ни разу за всю свою жизнь: не от боли и не от страха, а от того, что нашёл человека, которого искал всю жизнь, не зная, что ищет, в тот самый момент, когда казалось, что нашёл — чтобы тут же потерять.

Но не потерял.

Нашёл.

. . .

Сколько прошло времени в пустыне, пока он лежал распростёртый на песке, у последней точки

тропы, — он так и не узнал. Может, час. Может, ночь целиком.

Когда он открыл глаза, оба кристалла на его груди светились ровно — не тревожно, не резко, а тем спокойным, ровным светом, каким светится то, что наконец нашло своё место. Он поднялся медленно, будто заново учился весу собственного тела, и долго стоял, глядя на светящееся небо, чувствуя внутри себя не пустоту после утраты, а нечто прямо противоположное — полноту, которой прежде никогда не было. Голос старика был там. Голос Лиры был там — уже не эхом, а частью, вплетённой в него так же прочно, как вплетена в ткань нить, из которой её соткали. Восемь голосов до неё были там. И глубже, тише, но безошибочно — то огромное, немое, наконец услышанное море, которое теперь принадлежало и ему тоже.

Он больше не был мальчиком, который однажды тронул тёмный камень в темноте руин и не смог объяснить, что произошло. Он не был больше даже тем, кто научился слышать и отвечать.

Он был следующим звеном. Девятым.

Тем, кого она ждала тысячу лет, — и тем, кто теперь понесёт то, что она несла, дальше, к горизонту, которого сама она никогда не увидит, но в который, он знал теперь совершенно точно, будет вплетена навсегда.

Он пошёл домой не спеша, глядя, как встаёт солнце над пустыней, которая вырастила его слепым к себе и одновременно единственным, кто мог услышать так далеко.

Позади него, там, где сходились все линии тропы, вычерченной за века до его рождения, ветер в последний раз шевельнул песок — и затих, будто дело, ради которого дюны когда-то перестали двигаться, было наконец завершено.